

*Я помню  
её такой...*



*Вера Желиховская  
Моя сестра — Елена  
Блаватская  
Правда о мадам Радда-Бай*

Я помню ее такой...

Вера Желиховская

**Моя сестра – Елена Блаватская.  
Правда о мадам Радда-Бай**

«Алисторус»

2017

УДК 141.339(092) Блаватская Е.  
ББК 86.42 Блаватская Е.

**Желиховская В. П.**

Моя сестра – Елена Блаватская. Правда о мадам Радда-Бай /  
В. П. Желиховская — «Алисторус», 2017 — (Я помню ее такой...)

ISBN 978-5-906947-17-8

Радда-Бай – литературный псевдоним Елены Петровны Блаватской – известной писательницы, творца и вдохновительницы теософического учения. Предлагаемая книга представляет собой рассказ о жизненном пути мадам Блаватской, написанный родной сестрой, известной в свое время детской писательницей В. П. Желиховской. Повествование, иногда очень личное, пристрастное, в котором ощущаются отзвуки духовной и литературной борьбы тех дней, знакомит с яркой и сложной судьбой этой выдающейся женщины, с основными положениями ее учения.

УДК 141.339(092) Блаватская Е.  
ББК 86.42 Блаватская Е.

ISBN 978-5-906947-17-8

© Желиховская В. П., 2017  
© Алисторус, 2017

## Содержание

Предисловие	6
Вера Желиховская. Как я была маленькой	7
Первые воспоминания	7
Приезд к родным	10
Крестины куклы	12
Даша и Дуняша	16
В приюте	19
Няня Наста	22
Нянина сказка	26
Конец няниной сказки	30
Исповедь	32
В монастыре	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

**Вера Желиховская**  
**Моя сестра – Елена Блаватская.**  
**Правда о мадам Радда-Бай**

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

## Предисловие

В издание вошли наиболее известные и интересные воспоминания об одной из самых легендарных женщин в истории, писательнице и религиозном философе – Елене Блаватской. В первой части книги вы узнаете о подробностях детства Елены Петровны Блаватской. Расскажет о ее юных годах знаменитая писательница, сестра Елены Петровны Вера Желиховская.

Вторая часть книги представляет собой самые известные и противоречивые воспоминания о Елене Петровне. Писатель и лучший друг, а затем и злейший враг Елены Петровны, Всеволод Соловьев расскажет о своем опыте общения с этой женщиной. Воспоминания Всеволода Соловьева были опубликованы спустя несколько месяцев после смерти Елены Петровны Блаватской, поэтому сама писательница никак не могла ответить на весьма острую критику в свой адрес.

Книга «Жрица современной Изида» до крайности возмутила родную сестру Елены. В ответ на публикацию Всеволода Соловьева из-под пера Веры Петровны Желиховской вышла знаменитая книга «Радда-Бай. Правда о Блаватской», в которой Елена Петровна Блаватская предстала во всем великолепии ее многогранной и сложной личности.

## Вера Желиховская. Как я была маленькой

### Первые воспоминания

Знаете ли вы, дети, как я помню себя в первый раз в жизни?.. Помню я жаркий день. Солнце слепит мне глаза. Я двигаюсь, – только не хожу, а сижу, завернутая в деревянной повозочке, и покачиваюсь от толчков.

Кто-то везет меня куда-то...

Кругом пыль, жар, поблекшая зелень и тишина, только повозочка моя постукивает колесами. Мне жарко. Я жмурюсь от солнца и, лишь въехав в тенистую аллею, открываю глаза и осматриваюсь. Предо мной большой дом с длинной галереей. Какой-то старый солдат, увидев меня, издали улыбается и, взяв под козырек, кричит:

– Здравия желаем кривоногой капитанше!..

Кривоногой капитанше? – ведь это обидно, не правда ли? Я сообразила это позже; но в то время я еще не умела обижаться. Няня вынула меня из повозочки и понесла... купать.

Много времени спустя я узнала, что это было в Пятигорске, куда мама привезла меня лечить и жила вместе с бабушкой и тетями, которые сюда приехали из другого города для свидания с нами.

Мне был всего третий год...

Не диво, что это первое мое воспоминание.

Всякий день моя няня, старая хохлушка Орина, возила меня на воды купать в серной воде; а потом меня еще на целый час сажали в горячий песок, кучей насыпанный на маленькой галерее нашей квартиры. Хотя мне был третий год, и я все понимала и говорила, но не могла ходить. Впрочем, ноги у меня были только слабые, а не кривые, несмотря на прозвание «кривоногой капитанши», данное мне сторожем при купальне. А капитаншей он потому называл меня, что отец мой был тогда артиллерийский капитан.

Воды помогли мне: после Пятигорска я начала ходить.



Пятигорск в XIX веке. Здесь прошло детство сестер Елены и Веры Ган

Не помню, как мы расстались с бабушкой и как ехали домой. Я опомнилась совсем в другом месте, где уже не было родных моих, а все приходили какие-то офицеры, и один из них высокий, с рыжими, колючими усами, называл себя моим папой... Я никак не хотела этого признать: толкала его от себя и говорила, что он совсем не мой папа, а чужой. Что мой родной, – большой папа (мы, дети, так называли дедушку) остался там, – с маминой мамой и тетями, и что я скоро к нему уеду...

Помню, что мама часто болела, а когда была здорова, то подолгу сидела за своей зеленой коленкоровой перегородкой и все что-то писала.

Место за зеленой перегородкой называлось «маминым кабинетом», и ни я, ни старшая сестра, Леля, никогда ничего не смели трогать в этом уголке, отделенном от детской одною занавеской. Мы не знали тогда, что именно делает там по целым дням мама? Знали только, что она что-то пишет, но никак не подозревали, что тем, что она пишет, мама зарабатывает деньги, чтоб платить нашим гувернанткам и учителям.

В хорошие дни мы уходили в сад и там играли с няней Ориной или с Лелей<sup>1</sup>, когда она была свободна. В дурную же погоду я очень любила садиться на окно и смотреть на площадь, где папа со своими офицерами часто учили солдат. Я очень забавлялась, глядя, как они разъезжали под музыку и барабанный бой; как гремя переезжали тяжелые пушки, а мой папа на красивой лошади скакал, отдавая приказания, горячась и размахивая руками.

К нам часто приходило много офицеров обедать и пить чай. Мама не очень любила, когда они, бывало, начнут громко разговаривать и накурят целые облака дыма. Она почти всегда сейчас после обеда уходила и запиралась с нами в детской.

Зимой мама стала болеть чаще. Ей запретили долго писать, и потому она проводила вечера с нами. Она играла на фортепьяно, а Антония, молодая институтка, только что у нас поселившаяся, вздумала, шутя, учить сестру танцам. Мне это очень понравилось, и я тоже

---

<sup>1</sup> Елена Петровна Блаватская (урожденная Ган; 1831–1891) направления, литератор, публицист, оккультист и спиритуалист, путешественница. Родная сестра В. Желиховской.

захотела учиться у нее; но так как я была очень толстая, а ноги все еще были у меня слабы, то я беспрестанно падала, желая сделать какое-нибудь па, и до слез смешила маму и Антонию. Но я не унывала и еще вздумала учить танцевать свою старую няню Орину. Бедная хохлушка никак не могла так повернуть ноги, как я ей приказывала; а я еще была такая глупая девочка, что из себя за это выходила, щипала ее за ноги и жаловалась, что у «гадкой Орины ноги кривые!»

Вдруг, сама не помню как, мы очутились в большом, красивом городе...

Я себя вижу в большой, высокой комнате. Я стою у окна, с апельсином в руке, и смотрю на море. Ух! Сколько воды!.. И не видно, где это море кончается?.. Точно уходит туда, – далеко-далеко, до самого неба. И какое оно шумливое, беспокойное! Все бурлит сердитыми волнами, покрытыми белой пеной. У самого берега много качается кораблей, лодок, а вдали белеются паруса. «И как это им не страшно уходить так далеко от берега? – думаю я, глядя на них. – Как-то они вернуться?.. Верно утонут!» И мне так и казалось, что на этих кораблях бедные люди должны уходить «туда», далеко в сердитое море, и навсегда там пропадать.

Мы жили в этом городе целую весну. Я много гуляла с Антонией и с новой гувернанткой-англичанкой. Особенно любила я сходить по широкой лестнице на морской берег и собирать там раковины и пестрые камешки.

После я узнала, что этот город – Одесса, и что мама приезжала сюда лечиться.

После этого мы еще прожили все лето в очень скучном и грязном польском местечке (где стояла папина батарея), о котором я ничего не помню, кроме того, что раз мне подарили куклу, объявив, что я теперь большая, должна учиться читать и писать. Мне пошел пятый год. Учение, однако, было отложено, и я продолжала только играть, расти, шалить и толстеть. Сестра, на четыре года старше меня, уже училась серьезно с обеими гувернантками и музыке с мамой. Но бедная наша мама все становилась слабее и больше, хотя трудилась по-прежнему. Ради ее здоровья, требовавшего правильного лечения, маме необходимо было согласиться на просьбы бабушки, и мы собрались ехать к ним в Саратов, чему Леля и я ужасно были рады.

С этого времени я уж лучше помню и начну вам рассказывать по порядку все свое счастливое детство.

## Приезд к родным

Было темно. Наша закрытая кибитка мягко переваливалась со стороны на сторону. Устав от дороги и долгого напрасного ожидания увидеть город, куда всем нам ужасно хотелось скорей доехать, мы все дремали, прислонясь, кто к подушке, кто к плечу соседа. Меня с сестрой совсем убаюкали медленная езда по сугробам, тихое завывание ветра да однообразные возгласы ямщика на усталых лошадях. Одна мама не спала. Она держала меня, меньшую, любимую дочку свою, на коленях; одной рукой придерживала на груди своей мою голову, оберегая ее от толчков, другою проделала себе маленькую щель в полости кибитки и, пригнувшись к ней, все высматривала дорогу.

Мне снилось лето. Большой сад с развесистыми деревьями. Какие большие, желтые сливы!.. И как больно глазам от солнца, светящего сквозь ветви!..

Вдруг я проснулась, пробужденная толчком, и в самом деле зажмурилась от яркой полоски света, пробежавшей по моему лицу.

– Это что? – спросила я, вскочив и протирая глаза. – Что это такое, мамочка?.. Фонарь?

– Фонарь, моя милая, – сказала мама, улыбаясь. – И посмотри, какой еще большой фонарь!

Она отодвинула полость кибитки, и я увидела много огоньков, а впереди что-то такое большое, светлое, в два ряда унизанное светящимися окнами...

– Это дом, мама! Какой хороший!.. Кто там живет?

– А вот посмотрим, – отвечала мама. – Разве ты не видишь, что мы к нему едем?

– К нему? Разве это такая станция?!

– Нет, дитя мое, станций больше уж не будет. Разве ты забыла, к кому мы едем? Это город; а это дом папы большого. Мы приехали к бабушке и дедушке.

«Это дом папы большого!» – подумала я в изумлении. И все мои понятия о дедушке и бабушке разом перевернулись. Мне вдруг представилось, что они верно очень богатые, важные люди; а что этот блестящий фонарь, в котором они жили, должен быть очень похож на дворец царевны Прекрасной, о которой рассказывала мне Антония.

– Леля! Леля!.. – начала я теребить свою сестру. – Проснись! Посмотри, куда мы приехали... К дедушке и бабушке!.. Вставай! Да вставай же!..

– М...м... – промычала Леля. – Убирайся!..

– Не сердись, – сказала ей мама, – Верочка правду говорит: мы приехали. Посмотри-ка: вот дедушкин дом.

Все встрепенулось и зашевелилось в нашей темной кибитке. Да она уж и не казалась нам темной теперь; полость откинули с одного боку, и свет, и шум городских улиц казались нам чем-то волшебным после сумрака, снежной мглы, тишины и нашей долгой скуки.

Мы въехали в каменные ворота большого дома, который я издали приняла за фонарь, и остановились у ярко освещенного подъезда.

Что тут произошло, – я не могу никак описать! Все и все перемешалось, перепуталось...

С маминых колен я попала кому-то на руки. На крыльце другие руки какой-то молоденькой барышни, оказавшейся меньшей теткой нашей, Надей, – перехватили меня и потащили на высокую, светлую лестницу. В передней было ужасно тесно. Все мы, моя мама, Антония, сестра, горничная Маша, мисс Джефферс, наша англичанка, – все перемешались с чужими, казалось, мне незнакомыми людьми, и все смеялись и плакали, ужасно меня этим удивляя.

Высокая, очень полная барыня, с добрым и ласковым лицом, в которой я не сразу признала свою дорогую бабушку, крепко обняла мою маму. Другая наша тетя, постарше Нади, тетя Катя, стала на колени перед Лелей и крепко ее целовала. Высокий, седой господин с другой стороны держал маму за руку, обнимая ее тоже. Вся эта суета совершенно сбила меня с

толку. Я ничего не понимала, обернулась ко всем спиной и пристально рассматривала какого-то огромного, синего человека, с длинными усами, белыми эполетами и белыми шнурками на груди. Он меня очень занял, этот голубой человек!.. Я боялась его немножко, но больше удивлялась, отчего это он один не смеется и не радуется, а стоит смиренно, вытянувшись у дверей, и смотрит на все неподвижно, даже не сморгнув глазом?..

– А где же Вера? Где маленькая Верочка?.. – вдруг спросила бабушка, оглядываясь.

– Здесь она! – отвечал кто-то.

Все расступились предо мной, и высокий, худой господин в сером сюртуке поднял меня с полу и, поцеловав несколько раз, передал на руки бабушке.

Тут только узнала я в нем своего милого папу большого.

– Дорогая моя Верочка! – говорила, обнимая меня, бабочка. – Вот она, какая большая стала, моя крошка!.. Подросла, поправилась после пятигорских вод. Да посмотри же ты на меня!.. На кого это она так смотрит? – с удивлением обратилась бабушка к моей матери.

– Верочка! О чем ты думаешь?.. – спросила мама.

Я откинулась на руках бабушки и все продолжала пристально глядеть на голубого человека...

– Кто это такой? – шепотом спросила я, указав на него пальцем.

Все обратились в ту сторону, и все громко расхохотались.

– Жандарм Игнатий! – закричала, смеясь, тетя Надя.

– Вот смешная девочка! – переговаривались все, в беспорядке входя в большой, светлый зал. – Жандарма испугалась!

– Я совсем его не пугалась! – обиделась я, не понимая, чему смеются?

Но мой гнев еще больше насмешил всех, и я стала переходить с рук на руки. Меня обнимали и целовали без конца до того, что я готова была расплакаться и очень обрадовалась, когда очутилась под крылышком бабочки. Она усадила меня возле себя на высокий стульчик, и все принялись за чай, весело разговаривая.

Разумеется, я равно ничего из этих разговоров не понимала да и не слушала их.

Сестра все убегала куда-то с Надей; что-то рассказывала мне, возвращаясь, весело перешептываясь с нашей тетушкой, которая была немногим старше ее самой, но я ровно ничего не понимала и в их рассказах. Я с наслаждением пила свой теплый чай и рассматривала очень внимательно большие портреты дам и мужчин, которые висели против меня на стене.

У одного из этих господ был тоже голубой сюртук как у жандарма в передней; у него только не было усов, а вместо белых эполет и шнурков у него были белые волосы, белое кружево на груди и большая белая звезда. Что за странность! Вот и у дамы с розой на плече тоже высокие белые волосы!.. «Отчего это у них у всех розовые щеки и седые волосы?..» – думала я.

Мне было так хорошо, тепло!..

Лицо мое горело. Перед глазами, смутно глядевшими на портреты моих прабабушек и прадедушек, носились разноцветные круги, искорки, узоры... Наконец, они окончательно слиплись, и голова моя упала на стол.

– А Верочка-то заснула! – услышала я над собою и вдруг почувствовала, что кто-то меня осторожно приподнял и понес...

Мне так трудно было открыть глаза и так сладко дремалось, что уж я и не посмотрела, кто и куда несет меня, и совершенно не помню, как уложили меня спать.

## Крестины куклы

Много-много счастья и детских радостей помню я в этом милом, старом доме! Хотя в тот приезд наш в Саратов я была так мала, что многое слилось в моей памяти и, быть может, совсем бы из нее изгладилось, если б мне не привелось и впоследствии долго жить в этих местах, с этими самыми дорогими людьми.

Я уже говорила, что мы называли дедушку папой большим, в отличие от родного отца нашего, который, конечно, был гораздо моложе. Теперь надо еще сказать, что бабушку мы всегда называли бабочкой. Почему – сама не знаю! Но так как я пишу не выдумку, а всю правду о своем детстве, то не могу называть ее иначе. Вероятно, объяснение этому прозвищу находилось в том, что бабушка моя, очень умная, ученая женщина, между прочими многими своими занятиями любила собирать коллекции бабочек, знала все их названия и нас учила ловить их.

Оба они, и дедушка, и бабушка, ничего не жалели, чтобы тешить и забавлять нас. У нас всегда было множество игрушек и кукол; нас беспрестанно возили кататься, водили гулять, дарили нам книжки с картинками. Было у нас также много знакомых девочек. Некоторые из них даже учились с нами вместе.

Одну из этих девочек, любимую мою подругу, звали Клавдией Гречинской. К ней в гости я любила ездить, потому что у нее было много сестер, которые всегда надаривали мне пропасть куколок, сшитых из тряпочек. Этих тряпичных куколок я любила гораздо больше настоящих, купленных в лавках кукол; может быть потому, что сама могла раздевать и одевать их опять в разные платьица, которых у них бывало по несколько.

Вот послушайте, какая смешная история случилась раз со мною из-за такой именно куколки.

Надо вам знать, что дом дедушки, который я ночью приняла за фонарь, был в самом деле большой дом, с высокими лестницами и длинными коридорами. На нижнем этаже жил сам дедушка, и помещалась его канцелярия. На самом верхнем были две спальни: и бабушки, и тетины, и наши. На среднем же почти никто не спал: там все были приемные комнаты, – зал, гостиная, диванная, фортепьянная. Ночью все эти комнаты были совсем темны и пусты. Другая девочка, пожалуй, побоялась бы и пойти туда вечером одна; но я была очень храбрая, и мне не приходило и в голову бояться.

Ну, вот раз я вернулась от Клавдии довольно поздно и привезла с собой в маленькой, качавшейся колыбельке крошечную куколку, спеленатую в простынки и закрытую красным атласным одеяльцем. Возле колыбели, в стеклянном ящике, в котором она помещалась, лежало белье и платье куколки; все такое крошечное, что можно было надеть на мизинец. Ужас, как я была рада и как полюбила свою новую куколку! Всем я ее показывала и даже, ложась спать, положила ее с собою. Но, прежде этого, когда я прощалась с бабушкой, она меня спросила:

– А как же зовут твою куклу?

Я сильно задумалась и, наконец, отвечала:

– Не знаю!

– Как же это ты позабыла ее окрестить? – улыбаясь продолжала бабочка. – Без имени нельзя. Надо ее завтра окрестить. Ты меня позови в крестные матери.

– Хорошо!.. А как же: ведь надо купель.

– Нет, купели не нужно. Ты знаешь, что водой нехорошо обливаться. Мы без купели окрестим ее Кунигундой...

– Фу! Кунигунда – гадкое имя! – сказала я. – Лучше Людмилой или Розой.

– Ну, как хочешь. А теперь иди спать...

Я ушла наверх и легла, уложив с собой куклу, но долго не могла заснуть, все думая о будущих крестинах без воды и о том, какое выбрать имя?..

Вдруг, среди ночи я проснулась.

Все было тихо; все давно спали. Возле меня сестра, Леля, мерно дышала во сне; на другом конце нашей длинной и низкой детской спала няня, Настасья. По всему полу, по стенам лежали длинные, серые ткани и, казалось мне, таинственно дрожали и шевелились...

Я привстала на кровати и осмотрелась.

Тени шевелились, то вырастая, то уменьшаясь, потому что ночник, поставленный на пол очень нагорел, и пламя его колебалось со стороны на сторону.

Я уж хотела лечь, как вдруг вспомнила о кукле, взяла ее и начала рассматривать, раздумывая над нею.

«Как тихо!.. Вот бы теперь хорошо окрестить ее! Никто бы не помешал. А то днем и воды не дадут... Не встать ли, да в уголку, около ночника и справить крестины?..»

Я тихонько спустила ноги с кровати.

«Нет! Здесь нельзя. Няня или Леля проснутся... да и воды нет!.. А внизу ведь, в гостиной, и теперь стоит, – вспомнила я, – графин, полный воды: бабочке подавали, когда я прощалась, и верно его не убрали... Пойти разве вниз?.. А как услышат?.. Страшно!.. А зато, как там теперь можно хорошо поиграть, одной, в этих больших комнатах! Можно делать все, что захочется... Пойду!»

Я тихонько спрыгнула на холодный пол, надела башмачки, накинула блузу и платочек и взяла куклу.

«А темнота? – вдруг вспомнила я. – Как же играть в темноте?.. Внизу ведь теперь нигде нет света».

Я огляделась и увидела на столе огарочек свечи. На цыпочках прокралась я к нему, взяла и, также неслышно, осторожно ступая, перешла комнату и наклонилась, с замиранием сердца, зажечь его к ночнику.

Уф! Как крепко билось мое сердце! С каким ужасом косилась я на спящую няню. Как боялась, чтоб она не проснулась, и как я вздрогнула, перепугавшись не на шутку, когда черная шапка нагара, тронутая моим огарком, свалилась с фитиля в ночник и затрещала, потухая...

Насилу я успокоилась и собралась с силой двинуться с места. Сколько раз останавливалась я, со страхом прислушиваясь: не проснулся ли кто, не зовут ли меня? – я и счет потеряла! При каждом скрипе ступенек на лестнице, не смея идти далее, я вслушивалась в какой-то странный шум: то был шум и стук моей собственной крови в ушах; а я, слыша, как крепко колотилось у меня сердце, в ужасе останавливалась, думая, что это стучит что-нибудь постороннее!.. Наконец, лестница кончилась. Вот я внизу, в длинном, темном коридоре. Я сделалась смелей: здесь уж никто меня не услышит! Я быстро пошла к дверям зала и взялась за тяжелую медную ручку.

Двери медленно отворились, и я очутилась в огромном, черном зале...

Мне что-то стало холодно, и мой огарок, при свете которого этот страшный зал казался еще черней и больше, крепко дрожал в моей руке, пока я старалась как можно скорее пройти его, к широко отворенным дверям гостиной.

«Ах! Что это?» – я чуть не упала от испуга на пороге гостиной: из глубины ее ко мне шла точно такая же как и я маленькая, бледная девочка, со свечкой в руках и вся освещенная дрожащим пламенем, большими, испуганными глазами смотрела мне в лицо!.. Я схватилась за дверь и уронила свой огарок...

И девочка тоже выронила свой огарок!..

«Ах! Это я себя увидела, в большом зеркале, против дверей зала... Господи, какая же я глупая!»

Едва придя в себя от страха, еще вся дрожа, я подняла свой огарочек, – хорошо, что, повалившись на бок, он не потух.

Ну, вот я и пришла.

Вот и вода, и стакан на столе. Теперь только выбрать местечко и играть себе хоть до рассвета!.. Я сейчас же устроилась в углу, между диваном и печкой, под большим креслом, между ножками которого был мой крестильный зал. Я поставила туда люльку, стакан с водою; вынула куклу и, раздев ее, приготовилась помочить ее в этой купели. Я видела раз крестины настоящего ребенка и помнила, что крестная мать его носит кругом купели три раза. Поэтому я взяла куколку, запела как священник «Господи помилуй!» и начала двумя пальцами обносить ее вокруг стакана...

Вдруг мне послышалось за стеной какое-то движение и вслед затем: «Хр-р-р!..» – захрапел кто-то в передней или в зале, – я не разобрала!

Я съехала и притаилась, забыв о крестинах и о пении и крепко сжав в кулак несчастную куколку. «Вдруг это зверь, – думалось мне, и у меня снова заколотилось сердце. – Тот самый страшный зверь, который хотел съесть красавицу в лесу и потом на ней женился!.. И... вдруг он захочет на мне жениться?! Фи! Глупости какие! – тотчас остановила я себя. – Ведь я маленькая. На мне нельзя жениться!.. А если это разбойники?..»

«Хр-р-рр!..» – крепче прежнего раздалось за дверьми. Тут уж я думать перестала и, не помня себя от страха, бросилась на пол, подлезла под диван и забила к стене лицом.

«Господи! Кто-то идет!.. Пол заскрипел... Ай-ай! Кто-то дышит!.. Разбойники!.. Нет... Зверь!! Да какой черный!..»

В ушах у меня звенело от ужаса, и в глазах стало темно, но я все-таки одним глазком следила за всеми движениями черного зверя. Вот он подошел к стакану, в который я бросила мою бедную куклу... Ай! Он съест ее!.. Нет. Он только понюхал стакан, засопел, страшно фыркнул – и задул мой огарок!

Вот тут-то был страх! Я лежала под диваном, ни жива, ни мертва, съезжившись в темноте и все ожидая, что вот-вот облапит меня страшный, черный зверь и съест совсем – с головою. Я хотела закричать, но от страху не могла. Да и кто меня услышит? Все спят наверху, далеко. О! Как я раскаивалась в своей глупости, в том, что ушла сверху сюда ночью, одна...

– Ах!.. – закричала я вдруг, почувствовав на лице своем крепкое дыхание зверя, уж подбравшегося ко мне. – Не ешь меня, милый черный зверь! Я отдам тебе все, все, что ты хочешь, только не ешь меня!..

Но зверь, не слушая моих просьб, лизнул мне лицо длинным, горячим языком...

Если б у него, вместо языка, показался изо рта огонь как из печки, – я бы не могла больше испугаться. Я прислонилась беспомощно к стене и готовилась сейчас умереть.

Но... что за чудо? Страшный зверь вместо того, чтобы кусать меня и рвать на части, обнюхал меня всю кругом, еще раз лизнул мою щеку, зевнул и лег рядом со мною на пол.

Я немножко опомнилась.

«Что же это за зверь такой?.. – размышляла я, приходя в себя, словно оттаивая от своего страха. – Эге!.. Уж не Жучка ли это, наша добрая черная собака, что всегда ласкалась ко мне во дворе?..»

Мне вдруг стало страх как весело, даже смешно, но вместе с тем и как будто немножко стыдно.

– Жучка! – шепнула я, приподнявшись.

Черный зверь поднял голову, послушно подполз ко мне и лизнул мою руку.

– Жучка! – закричала я, ужасно обрадовавшись. – Уж как же ты меня напугала, негодная!..

И я от радости начала обнимать и целовать Жучку в самую морду!.. В это время немножко рассвело. Окна гостиной серыми пятнами вырезались на черной стене и чуть-чуть освещали комнату. Я выползла из-под дивана, мимоходом захватив из стакана свою вымокшую насквозь куколку, так и оставшуюся все-таки без имени, некрещеной, и, не оглядываясь, бегом пустилась из гостиной в зал, оттуда в коридор, на лестницу и перевела дух только в своей кровати.

Тут я закрылась с головою одеялом, потому что вся дрожала, не знаю только, от холода или от страху?.. Свою бедную, чуть не утонувшую, холодную куколку я положила поближе к себе, стараясь согреть ее, и, засыпая, крепко-накрепко обещала самой себе никогда больше не вставать по ночам и не делать таких глупостей.

Сладко, крепко я заснула в теплой постельке, но утром вставать мне было очень стыдно. Жандарм Игнатий, которого голубым мундиром я любовалась в первый вечер нашего приезда, услышав на рассвете шум в гостиной, вышел из передней, где он спал вместе с Жучкой, и увидел, как я бежала по коридору. Он сказал об этом людям, а те передали нашей няне, Настасье. Старушка нашла в гостиной люльку и ящик с платицами моей куколки, замоченные опрокинутым стаканом воды, и, подобрав их, вместе со стеариновым огарком, пошла все рассказать Антонии и маме.



Вера Петровна Желиховская (1835–1896) – русская писательница; пропагандистка теософии. Сестра Елены Блаватской, дочь Елены Ган, двоюродная сестра Сергея Юльевича Витте

Мама очень испугалась и рассердилась, и крепко бы мне досталось, если б не добрая моя бабочка: она за меня заступилась и взяла с этих пор спать в свою комнату.

Все, однако, узнали о ночных моих похождениях и долго подсмеивались надо мною, а я краснела, когда меня называли «полуночницей».

## Даша и Дуняша

– Послушай-ка, Верочка, – сказала раз бабушка, входя в диванную, где я играла с двумя дворовыми девочками моих лет, Дашей и Дуней, – собирайся, – поедем: я тебя повезу сегодня в дом где много-много девочек.

– Куда это, бабочка? К Гречинским или Бекетовым?

– Нет, в этом доме ты еще никогда не была; там живут и учатся много маленьких девочек. Мы повезем им конфет и пряников: тебе с ними будет весело.

Бабушка вышла.

– Это верно вас в приют повезут, барышня! – шепотом сообщила мне Даша, очень умная и хитрая девочка.

– А что это такое – приют? – спросила я.

– Это школа такая для бедных, простых детей. Там все такие же как мы девочки; еще хуже нас! Не знаю, зачем вам туда? Лучше бы с нами играли.

Я не совсем поняла значение ее слов и предложила пока продолжать играть.

Игра наша была очень глупая, но она нас забавляла. Мы ставили соломенный, плетеный стул на солнечное место и называли блестящие кружочки, образовавшиеся на полу под ним, виноградом. Дуня, простенькая, добрая девочка, изображала садовника; я приходила покупать виноград, а бойкая Даша представляла вора: она отдергивала стул в тень, чтоб кружочки исчезали, – что означало, что вор украл виноград, и бросалась бежать; а мы вслед за ней, догонять ее.

Наконец, устав бегать, мы расположились отдыхать на ковре. Даша первая прервала молчание.

– И счастливые эти господа, право! – объявила она, отбросив за плечи свои густые, светлые косы и обмахивая пятью пальцами разгоревшееся лицо. – Хотят – спят! Хотят – играют! Хотят – едят!.. Умирать не надо!

– А ты разве не играешь, не спишь и не ешь? – спросила я.

– Когда дают – и ем, и сплю, а не дадут – так и так! А вам всегда можно: вы барышня!..

– Хотелось бы и мне быть барышней! – протяжно заявила Дуня.

– Ишь какая! Кто ж бы не хотел?.. Были бы мы с тобою барышни, хорошо бы нам жить на свете!..

– Да!.. Не надо было бы учиться чулок вязать, – прервала опять Дуня.

– Какой там чулок! Все б играли да ели.

– Ну, что ваш чулок! – сказала я. – Нам хуже: нам сколько надо учиться! И читать, и писать, и по-французски, и на фортепьяно играть.

– И-и! Это весело: этому-то учиться я б рада была! – сказала Даша.

– Нет, а я ни за что! – покачала головой Дуня. – Страсть, сколько бы надо учиться!

– Еще бы! – важно согласилась я. – Что такое ваш чулок? – Глупость, просто! А нам ужас сколько всего надо знать.

– А вот вы и не будете этого всего знать! – живо поддразнила меня Даша.

– Как не буду? Я уж и теперь много знаю...

– Ну, что вы знаете?.. – бесцеремонно прервала меня бойкая девчонка. – Я, вон, умею чулок вязать, а вы и того не знаете.

– Зачем мне чулок? – обиженно протестовала я. – Я читать должна учиться!

– Да и читать вы не умеете! Ну, что вы знаете против меня?.. Ну, скажите, что я буду вас спрашивать: откуда на зорьке солнышко встает, и куда оно вечером прячется?.. А с чего оно огнем горит? А откуда снег да дождь берутся? А зачем трава зеленая, а цветы разноцветные?

Кто их красит, а? Ну, скажите-ка! Отвечайте на все, что спрашиваю... Ну, что?.. Ан и не знаете!.. Вот и стыдно: ничего-то вы больше меня не знаете. А я больше вас знаю: чулок вяжу!

Пока Даша забрасывала меня вопросами, а я собиралась отвечать ей очень сердито, потому именно, что очень хорошо сознавала, что она права, что я никак не сумею объяснить ее вопросов, – вошла няня Наста с моею шубкой и капором. Даша сейчас же замолчала и при-смирела: она была хитрая и перед старшими всегда смолкала; я же, бросив на нее сердитый взгляд, очень обрадовалась, что приход няни выводил меня из затруднения.

Я поехала с бабушкой очень задумчивая.

«Да, – думалось мне, – многое нужно мне знать, многому научиться. Нехорошо не уметь ни на что ответить... Вон, Даша спрашивает, отчего солнце светит; откуда берутся снег да дождь? А я и не знаю!.. Ишь, какой снег, славный! Какими красивыми звездочками он падает, прелесть! И все разные!..»

И я принялась рассматривать снежинки, которые кружились в воздухе и садились мне на темную шубку.

– Бабочка, – спросила я, – отчего это снег падает такими хорошенькими звездочками? Как они делаются?

– Бог их делает такими, – ответила бабушка. – Он все в природе сотворил хорошо и красиво.

– А что это такое – природа?

– Природа – это все то, что есть на свете Божьем. Вот этот снег; реки, горы, леса; летом трава и цветы; солнце и месяц, – все, что мы видим вокруг себя, – все это природа, дитя мое.

– Бабочка, скажите мне: как это солнце восходит и ложится? И отчего это летом тепло, везде зелень, цветы, а зимою холод и снег? И отчего это солнце так ярко горит? – залпом выговорила я.

– Что это тебе пришло в голову? – удивилась бабушка. – Это трудно объяснить такой маленькой девочке. Вот вырастешь, будешь учиться, – многое узнаешь. А теперь довольно тебе знать, что все это создал Господь Бог, который и нас людей сотворил и велел нам пользоваться всей природой, чтоб мы не нуждались ни в чем. Он так устроил, что половину года солнышко долее остается на небе, горячее греет землю, и от этого снег на ней тает и на ней вырастают травы, фрукты спеют на деревьях, все зеленеет и цветет в лесах, а на полях созревают хлеба: рожь, пшеница, – все, что растет нам на пищу и удовольствие. Эта половина года называется летом, когда бывают длинные, жаркие дни и короткие ночи. А другую половину года солнце встает позже, не подымается на небе высоко, прячется гораздо раньше и почти не греет, а только светит. Вот, как теперь: видишь, как оно стоит низко?..

И бабушка указала мне в ту сторону, где почти над крышами домов блистало красное, но не горячее солнце почти без лучей, так что я легко могла, прищурившись, смотреть на него.

– Оттого-то зимою дни бывают короткие, ночи длинные, и стоят холода и морозы...

– Ну, а снег-то откуда же?.. – прервала я.

– А разве ты не знаешь, что вода от холода мерзнет? Вот погляди на Волгу: летом вода в ней течет, лодки плавают; а теперь по ней люди ездят в повозках и санях и пешком ходят как по земле, потому что она покрылась толстым слоем льда. Ну, вот от холода же и те капли воды, которые летом упали бы на землю дождем, зимою, пока летят, замерзают в воздухе и падают на нее снежинками. Холод же не дает им растаять, так что много-много таких снежинок, слежавшись на земле, покрывают ее как белым одеялом. Снег – это замерзший дождь, дитя мое...

– Да отчего ж снежинки-то все такие узорчатые? – опять прервала я очень неучтиво. – Капли дождя – просто капли, а ведь снег, посмотрите, какими звездами.

– Ну, мой дружок, этого нельзя объяснить! – улыбаясь отвечала мне бабушка. – Тот кто вырезает листья на деревьях, кто окрашивает и дает разный запах цветам, тот и эти звездочки вырезывает. Ты знаешь, кто это делает?..

– Бог! – отвечала я очень тихо.

– Да, моя милая: премудрый и добрый Бог, все устроивший в мире красиво и полезно.

– А как же, бабочка: разве зима полезна?.. Лучше бы всегда было лето, всегда росли цветы, ягоды, фрукты!.. Нехорошо, что Бог сделал холодную зиму.

– Нет, дитя мое: все хорошо, что сотворил Бог. Он умнее и добрее нас с тобою. Земле тоже нужен отдых, как нам, людям, нужен ночью сон. Зимой земля спит под своим пушистым, снежным покровом. Она сил набирается к лету, чтобы, когда солнышко весной ее пригреет, снег растает, теплый дождичек пройдет в нее глубоко и напоит в глубине ее корни деревьев и трав, – быть готовой дать человеку все, что ему от нее нужно. Тогда она и выпустит из себя зелень, колосья, ягоды; все, что во всю долгую зиму она заготовила внутри себя, под снежным своим одеялом. А мы, люди, все это будем собирать, заготавливать хлеб и овощи, лакомиться ягодами и фруктами и варить варенья на зиму, чтоб и зимой, когда земля, все нам давшая, будет отдыхать, было нам, что кушать. А собирая и кушая, будем мы благодарить Бога, все это для нас создавшего, все так хорошо, так премудро устроившего.

– А что это значит: премудро?..

– Премудро значит очень умно. Вот ты у меня теперь не очень мудрая, потому что маленькая; а когда вырастешь и всему выучишься, ты будешь мудрая.

– Нет, бабочка! Я никогда, кажется, не буду умная. Чтоб быть умной, надо столько учиться, столько знать.

– Это не очень трудно, дитя мое! Надо только желать научиться и научишься всему, чему захочешь. Вот мы и приехали: выходи. Посмотрим, как здесь умные девочки хорошо учатся.

## В приюте

Мы вышли из саней и вошли в деревянный, одноэтажный дом, где в небольшой передней нас встретила старушка Анна Ивановна, надзирательница приюта. Все было так тихо, что я думала, что дом совершенно пуст, и очень удивилась, когда, войдя в следующую комнату, увидела в ней более двадцати девочек, смиренно сидевших за работой, за длинными черными столами. Все они были опрятно одинаково одеты в серые платица, и все как одна встали, когда мы вошли в комнату, и, дружно кланяясь, закричали:

– Доброго утра, Елена Павловна!

– Здравствуйте, детки, – приветливо отвечала бабушка. – Все ли здоровы? Все ли умны и хорошо учились? Связана ли моя шерстяная косынка?

– Все здоровы и старались учиться! – было дружным ответом. – Косынка почти готова: Зайцева ее каймой обвязывает.

Тут хорошенькая девочка, побольше других, встала и подошла показать большой лиловый шерстяной платок, в конце которого еще торчал ее деревянный крючок. Бабушка похвалила работу и сказала, погладив девочку по голове:

– Спасибо, Зайчик! Я тебе за это привезла капустки. Зайчики ведь любят полакомиться? А вот, посмотрите-ка, девочки, какую я вам привезла подругу: это Верочка, внучка моя. Хотите с нею поиграть?

– Хотим! Хотим! – закричали девочки; а мне ужасно хотелось спрятаться за свою бабочку от всех этих незнакомых детей.

Но я воздержалась, вспомнив, что Антония постоянно бранила меня за это.

– Идите теперь в приемную, дети, – сказала им Анна Ивановна, – играйте там с Верочкой.

Все шумно поднялись, попрятали свои работы и высыпали в зал, где окружили меня со всех сторон. Большие становились передо мной на колени, обнимали и целовали меня; маленькие тянули меня за руки, за платье; трогали мои волосы, бусы, бывшие у меня на шее. Я совсем растерялась и готова была расплакаться, с отчаянием поглядывая на дверь классной комнаты, в которой осталась бабушка. Мне казалось, что они разорвут меня!

Вдруг ко мне подошла та высокая, старшая девочка, которую бабочка называла «Зайчиком».

– Что это вы делаете? – прикрикнула она. – Оставьте Верочку! Зачем вы так окружили и надоедаете ей?.. Подите прочь! Она сама придет к вам, когда захочет.

Маленькие рассыпались от меня как горох. Осталось только несколько старших. Зайцева взяла меня на колени и успокоила.

– Хотите картинки смотреть, Верочка? – спросила она.

– Хочу, – отвечала я; хотя мне хотелось только одного: чтоб поскорее пришла бабочка и выручила меня.

Зайцева повела меня за руку в комнату, где стояло рядами много кроватей с чистыми, белыми подушечками и серыми одеялами. Но, когда меня посадили на одну из них, постель мне показалась очень твердой, а одеяла ужасно грубы. Все девочки засмеялись, когда я сказала, что одеяла кусаются.

– Кусаются? – повторяли они, смеясь. – Нет, ничего! Мы ими ночью закрываемся, и они никогда нас не кусали. Да у них и зубов нет. Кусаются только собаки!..

– Верочка хочет сказать, что они шершавые, – объяснила Зайцева. – Но для нас это ничего не значит: они теплые, и мы рады, что они есть у нас. Дома нам бы, может быть, и совсем нечем было закрыться зимою.

– К шелковым одеялам из нас никто не привык! – заметила одна большая девочка, вся в веснушках и с острым носом.

Она мне очень не понравилась.

– Благодарение Богу, что суконные есть! – отвечала Зайцева, как мне показалось, сердито глянув на нее. – Если б ваша бабушка, Верочка, сюда нас не взяла и не дала нам всего, многие из нас могли бы с голоду умереть.

– Как с голоду? – удивилась я. – Разве у вас нет повара, чтоб сделать обед?

Все девочки опять надо мною рассмеялись.

– Как не быть поварам! – вскричала опять остроносая. – Жаль только, что варить им нечего.

– Так что ж! – сказала я, чувствуя себя обиженной. – Разве вам бабочка обедать варит?

Тут поднялся такой хохот, что все уговоры и сердитые замечания Зайцевой не могли умирить его. Девочкам показалось уже слишком забавно, что я такую высокую, полную старушку называю бабочкой.

– Какая бабочка? – говорили они. – Разве бабочки готовят кушанья?..

Я чуть не плакала и сконфуженно пробормотала:

– Я говорю про свою бабочку, про бабушку.

– Разве ваша бабушка летает? – продолжали они смеяться.

Но тут уж Зайцева окончательно рассердилась и объявила, что если они сейчас не уйдут своего смеха и не перестанут говорить глупости, то она пойдет и скажет начальнице. Девочки поднялись и разошлись, фыркая, по углам; а Зайцева заговорила, обращаясь ко мне:

– Ваша бабушка такая добрая, Верочка, что другой такой, может быть, и на свете нет! Она обо всех нас заботится: мы ей всем обязаны. Она нас кормит и одевает и учит. А мне самой – она все дала!.. Если б не она – не только я, а моя мать и маленькие братья и сестры, – все бы умерли от холоду и голоду. Мы бедные: отец мой умер, мать болеет. Где ж нам взять денег, чтобы жить?..

– А разве без денег жить нельзя? – осведомилась я.

– Нет, душечка! – вздохнула Зайцева. – Без денег нельзя хлеба купить, а без хлеба приходится с голоду умирать. Ну, вот бы мы и умерли, если б бабушка ваша не узнала о нас и сама не пришла к нам. Пришла и прежде всего нас всех накормила; потом прислала доктора и лекарства моей маме. Потом меня взяла сюда и двух братьев отдала в школу. Потом матери дала работу, одела всех нас... Вот какая ваша бабушка, Верочка! – проговорила она со слезами на глазах и вся зарумянившись.

Я смотрела на нее, притаив дыхание, и слушала, как слушают сказку. Я не понимала в то время причины ее волнения, но чувствовала почему-то, что она хорошая, добрая девочка, и спросила:

– Так ты любишь мою бабочку?

– Очень люблю, Верочка!

– А как тебя зовут?

– Аграфеной. Мать Груней зовет меня...

– А мне можно так называть тебя?

– Можно, милочка. Отчего нельзя?.. Зовите и вы.

– Груня!.. А зачем ты говоришь мне вы?.. Это нехорошо. Я так не люблю! Говори, пожалуйста, ты!..

– Хорошо... Если только ваша мамаша не рассердится.

– Вот еще! Что ей сердиться? Мне все ты говорят. Это какая у тебя книга? Покажи.

Зайцева вынула из маленького сундучка, стоявшего под ее кроватью, хорошенькую книгу, но, держа ее в руках, совсем забыла, что хотела показать картинки. В книге оказались разные звери и птицы, одетые людьми; под каждым рисунком была подпись в стихах, часто очень смешная. Груня читала мне их, а я смеялась, глядя на картинки.

– А сама ты не умеешь еще читать? – спросила она.

– Нет, – отвечала я, очень покраснев. – Мне нет пяти лет: мама говорит – рано!

– Разумеется! Ты еще совсем маленькая... Я думала, что ты старше.

– А тебе сколько лет, Груня?

– О! Я старуха. Мне двенадцать лет. Больше чем вдвое против тебя.

Я очень полюбила Груню Зайцеву и начала просить ее непременно придти ко мне поскорее в гости.

– Поскорее нельзя! – улыбаясь отвечала она. – Нас выпускают только в воскресенье и праздники.

Я стала по пальцам считать, сколько еще дней осталось до воскресенья, и мне показалось, что оно так далеко, что никогда не настанет. Зайцева смеялась, утешая меня, что три-четыре дня скоро пройдут. Тут вошла бабушка с Анной Ивановной, и я бросилась просить ее, чтоб Груня пришла ко мне в воскресенье в гости.

– Какая Груня? – переспросила бабушка. – А! Зайцева?.. Вот как, вы подружились. Ты вот кого проси!

И бабушка легонько повернула меня к начальнице приюта. Та согласилась легко, и я бросилась от радости целовать Груню.

– А как же, Верочка, мы с тобой забыли наше угощение? – сказала бабушка. – Пойдемте, дети, в зал: там уже все приготовлено.

Мы вернулись опять в зал, где на подносе стояли привезенные бабушкой лакомства. Она сама раздала пряники и яблоки всем девочкам поровну, не забыв отложить всего на особую тарелку для надзирательницы.

– А что, детки, – сказала бабочка на прощание приютским девочкам, – не споете ли вы нам песенку?..

– Какую прикажете, Елена Павловна?

– Все равно. Какую вы лучше знаете. Только по-русски, хороводом, как я люблю.

И девочки стали все в круг, взявшись за руки, и дружно запели:

«Уж я золото хороню да хороню!  
Чисто серебро стерегу да стерегу»

Груня и тут отличилась: она была запевалой, стояла среди круга и управляла хором.

Весело мне было возвращаться из приюта. Я уж не думала ни о солнце, ни о зиме, ни о лете, а только о девочках и о милой Груне, которая придет ко мне в воскресенье и опять будет читать мне стихи и петь песни.

И, в самом деле, она пришла в воскресенье и стала часто приходиться и занимать меня чтением и рассказами. Она пробовала даже научить меня вязать из шерсти шарфики моим куклам; но я была очень непонятливая ученица, и дело всегда кончалось тем, что Груня сама вывязывала всякую начатую для меня работу и прекрасно обшивала моих кукол.

## Няня Наста

Чудесная старушка была наша няня. Она была стара: она вынянчила еще мою маму, дядю и тетей; а теперь, когда мы приезжали к бабушке, она по старой памяти всегда вступала в свои права и нянчилась с нами. Все в доме не только любили и уважали ее, но многие и побаивались. Няня без всякого гнева или брани умела всем внушить к себе уважение и страх рассердить ее. Мы, дети, боялись ее недовольного взгляда, хотя няня не только сама никогда не наказывала, а терпеть не могла даже видеть, когда нас наказывали другие. С большим трудом переносила она наше очень редкое стояние в углу или на коленях; а уж если, бывало, заметит, что нас – не дай Бог! посечь собрались, – не прогневайтесь! Будь это мама или папа, няня Наста без церемонии нас отымет, не даст! С мамой-то она совсем не церемонилась.

– Это что ты выдумала? – прикрикивала она на нее в этих редких случаях. – Мать твою тебя вырастила, я тебя вынянчила, и ни одна из нас тебя пальцем не тронула! А ты своих детей сечь?! Нет, матушка! Я тебя николи не била и твоих детей тебе не дам бить!.. Не взыщи, сударыня. Детей надо брать лаской да уговором, а не пинками да шлепками... Шлепков-то, поди, каждый им сумеет надавать; а от матери родной не того детям нужно!..

И так разбранит за нас Наста маму, как будто она и Бог вещь какая строгая была. Оно правда, что мама становилась всегда строже, когда мы приезжали к бабушке, ужаснейшей баловнице нашей; именно потому, что боялась, что она нас совсем избалует.

Часто, бывало, няня отымет нас, уведет от сердитой мамы в другую комнату, а сама вернется, чтоб еще ее хорошенько за нас побранить; а мама весело-превесело рассмеется над ее гневом, так что и старушка не выдержит и, забыв о том, что мы недалеко, хохочут обе, сами над собой, не зная, что и мы тоже смеемся вместе с ними...

Не только ребенка, а каждое Божье создание няня жалела и берегла. Не дай Бог было при ней убить паука или мушку, или равнодушно наступить на какого-нибудь жучка.

– Ну и что тебе с того? – сердито вопрошала она убийцу. – Всех, ведь, не перебьешь! Ты убил одного, – а на тебя налетят десять. Ведь ты ей жизни отнятой назад вернуть не можешь? Убить – убьешь, а воскресить-то не сумеешь? Не твоего это ума дело!.. Ну, так и убивать не смей. Пушай себе живут: коли Бог им жизнь даровал, значит, они на что-нибудь да нужны.

Точно так же сердилась няня, видя, что кто-нибудь животное обижает. Уж какая ведь добрая была, а всегда, бывало, замахнется, чем попало, и бежит своими мелкими старушечьими шажками отыпать несчастную кошку, щенка или птичку.

– Вот я тебя, негодник! – няня ни с кем не церемонилась и всем в доме, кроме дедушки и бабушки, говорила ты. – Ишь ведь обрадовался, что силы больше, чем у котенка, и ну обижать!.. А ну, как у меня больше силы, чем у тебя?.. Вот я тебя сейчас поймаю да и отдую, здорово живешь!.. Что ж умна я буду? А тебе-то сладко придется?.. Срам какой!.. Не озорничай! Оставь в покое Божью тварь, чтоб Господь на тебя самого не прогневался и не наказал за свое творение.

Вот какова была наша няня Наста, – а все-таки мы ее боялись! Как она бывало серьезно глянет из-под седых бровей своих да покачает строго головою, так хуже и наказания не надо!.. И хочется попросить няню, чтобы не сердилась, и страшно подойти к ней, пока она сама не взглянет ласковей и не подзовет к себе. В ее гневе было что-то особенное, какая-то особая сила. Не было возможности рассеяться, забыть, что она сердится; какая-то тяжкая скука на нас нападала во время ее гнева. А как только смягчалась няня, и на ее строгом, с мелкими правильными чертами, лице появлялась улыбка, – все будто бы разом прояснилось и веселело кругом.

Няня не одних нас, а вообще всех детей любила и жалела. Вечно, бывало, она вязала чулочки, фуфаячки, теплые шапочки для каких-нибудь бедных детей. Она плохо видела: шила

с трудом, но вязала искусно. Поэтому она всегда бралась вывязывать по несколько пар чулок для горничных девушек с тем, чтоб они ей сшили какую-нибудь работу, и работа эта почти всегда бывала белье, платьице или одеяло для ребенка.

В нашей детской была печка с большой лежанкой. Я всегда удивлялась, зачем это няня вечно складывает на ней узелки с нашими старыми платьями и башмаками? Она никогда не говорила нам, что все это припасает для встречаемых бедных детей.

Я гораздо позже об этом узнала.

Няня была хорошая сказочница. Она знала множество сказок и рассказывала их отлично. Мы все были ужасно рады, когда нам удавалось упрямить ее рассказать нам сказку, что было не совсем легко. Ее для этого надо было долго уговаривать, а если она была сердита или чем-нибудь опечалена, то ни за что не соглашалась.

Раз мы очень пристали к ней: «Расскажи, няня, да расскажи сказку!»

– Что вы? Господь с вами! – отвечала няня. – Нынче суббота, – всенощная в Божиих храмах идет, а я им сказки стану сказывать!.. Нет, детки, сегодня никак нельзя. Завтра, – дело иное. А субботний вечер – вечер святой. По субботам надо молиться Богу, а не выдумки рассказывать. Вот, я сейчас затеплю у образов лампадку, а Наденька или Леля Евангелие бы громко прочли. Вот, это бы дело было!

– Нет, няня; я в театр поеду с Катей и с Леночкой, – так тети называли мою маму. – И Лелю мы с собой возьмем, – отвечала тетя Надя.

Леля запрыгала от радости и побежала к маме узнавать, не пора ли одеваться; а няня крепко заворчала:

– Ишь нашли время комедии смотреть! Срам какой, во время службы Божией по театрам разъезжать. Ведь уж слава Господу, – не махонькие: должны бы понимать. А уж Елене Павловне просто стыдно не удержать девчонок.

Няня часто, по старой памяти, тетей и даже мою маму называла «детьми» и «девчонками».

– Эх ты, Наста! Воркотунья ты старая! – откликнулась, услышав ее слова, из другой комнаты бабушка. – Полно тебе ворчать! Какой тут грех – в театр ездить?.. Можно всему время найти: и удовольствию, и молитве.

– То-то я и говорю, сударыня, что всему свое время: бывает час молитве и час веселью, – не унималась няня. – Субботний вечер, известно, вечер святой! Божий вечер... Добрые люди недаром говорят: «Что во все дни трудись, в субботу Богу молись, а в седьмой день, помолясь – веселись». Православные люди так-то делают.

– Э! Полно, голубушка! – прервала ее бабушка. – Оставь молодежи веселье; а мы с тобой, старухи, будем за них молиться. Будет им время дома сидеть, когда жизнь надоест, а пока весело им – пусть веселятся во всяк день и час!.. Весельем мы Бога не прогневаем.

И бабушка принялась за свое прерванное занятие, а Наста еще долго качала седой головой и хмурилась, ворча себе что-то шепотом. Она тогда только унялась, когда, крестясь и вздыхая, принялась заправлять лампадку у киота.

Я смиренно притаилась в уголке, в темной амбразуре глубокого окна, и оттуда пристально следила за няней.

Ярко освещенное лицо ее, темное, с глубокими морщинами, смотрело серьезно и даже как будто немного сердито. Ее худенькое, как палка, прямое тело, одетое в темный ситец и черную фланель, казалось мне какой-то тоненькой, деревянной подставкой к низко опущенной голове, с выбившимися из-под темного платка, повязанного шльичкой, седыми как лунь волосами. Она засветила фитиль лампы, осторожно подтянула ее вверх по шнурку, закрепила конец на гвоздик и мерно сделала два шага назад, не спуская глаз с сиявших высоко в углу образов. Суровое лицо ее разгладилось и смягчилось выражением доброты и чего-то другого

еще, – какого-то непонятного мне, в то время, глубокого чувства, которое словно осветило ее всю, в то время как она, шепча молитву, осеняла себя широким русским крестом.

Я сидела не шевелясь, заложив в недоумении два пальца в рот, и не сводила с нее глаз.

«Была няня Наста когда-нибудь молодой?.. – размышляла я. – И... неужели она также была и маленькой?! Какая же она тогда была?»

Я закрыла глаза и старалась представить себе нянино лицо ребячьим или хоть молоденьким, румяным, веселым... Старалась – но никак не могла!

«Бегала она? Смеялась? Шалила когда-нибудь?.. – продолжались мои размышления. – Или она всегда была как теперь?.. Это не может быть: она тоже прежде была маленькой как я. И неужели... Неужели и я буду когда-нибудь такая же черная, седая?.. Может ли быть, чтоб и я сделалась такой старухой?..»



Елена Петровна Блаватская. 1860-е. гг.

*«Великие дела вершатся не сверхусилиями, а упорством»* (Елена Блаватская)

– Верочка! – услышала я вдруг голос бабушки. – Поди сюда! Что ты там делаешь?

Я неохотно, медленно слезла с окна на пол и пошла в другую комнату, по дороге все оглядываясь на молившуюся няню.

– Иди ко мне, Верочка, – подозвала меня к своему рабочему столу бабушка, – посиди со мной. Няня верно молится? Не надо мешать ей.

– Я не мешаю, бабочка!

– Ну, все равно: не ходи к ней. Вот тебе кастеты: раскладывай их, подбирай по картинкам.

И бабушка, которая сама всегда бывала занята и умела найти всем дело – и большим, и маленьким, с особенным искусством, придвинула мне ящик с игрой, называемой *casse-tête* [головоломка – фр.]. Вы верно знаете ее, дети?.. Она состоит из многих разноцветных кусочков дерева или картона, прямых и треугольных, из которых можно составлять разные узоры и рисунки по нарисованным бумажкам или самим выдумывать новые.

## Нянина сказка

На другой день, только что мы встали из-за стола, а обедали мы поздно, зимою при свечах, все мы, не исключая и тети Нади, бросились просить няню исполнить ее обещание. Она сидела в детской и смотрела на трещавший в печи огонь; чуть ли даже она не задремала, потому что вздрогнула и испугалась, когда мы разом вбежали и набросились на нее:

– Няня! Сказку. Пожалуйста, хорошую сказку!..

– Ну-ну! Полно кричать, чего вы?.. Я думала невесть что!.. Погодите. Расскажу ужо, когда вечер придет.

– Да какой же еще вечер? Теперь уж совсем темно, – протестовали мы.

– Папа большой спать уж пошел! – сказала я, для которой все время во дню измерялось тем, что делал дедушка.

Впрочем, дедушка не для одной меня, а для всего дома мог служить вернейшими часами, до того был аккуратен. Папа большой кофе пьет, – значит шесть часов утра; закусить поднялся наверх, – двенадцать часов ровно; обедать пришел – четыре; проснулся и вышел в зал походить и съесть ложечку варенья – ровнехонько семь часов вечера, а приказал чай подавать – половина десятого. После этого часок или два дедушка проводил в гостиной, где всякий вечер были гости; играл в вист или бостон, но аккуратно в одиннадцать уходил к себе вниз, где еще немного занимался и ложился спать.

К этому порядку так все в доме привыкли, что когда я сказала: «Папа большой уж пошел спать!», все поняли что уж шестой час.

– После позовут чай пить, – говорили Надя с Лелей, – ты не успеешь и кончить сказку, что право!..

– Ну хорошо, хорошо, баловницы! Сказывайте, какую вам сказку говорить-то?

– Все равно! Какую хочешь, няня. Говори, какую сама знаешь.

– Про Ивана Царевича, – предложила я.

– Ну! Эту мы на память знаем, – сказала Надя.

– Ты бы уж лучше про мальчика Ивашку и Бабу-Ягу, костяную ногу, попросила, – засмеялась надо мною Леля. – А ты, няня, расскажи новую!

– Ох! Уж ты – новая! Все б тебе новости! – укоризненно заметила няня. – Ну, садитесь по местам и слушайте!

Мы поставили себе стулья полукругом у лежанки и ждали, сидя смирно и молча: мы знали, что няня не любит, когда прерывают ее мысли в то время, как она собирается «сказку сказывать». В длинной, невысокой детской не было света, кроме яркого огня в печи. Няня его еще хорошенько взбила кочергой, потом села, как раз напротив яркого света, и, положив руки вдоль колен, устремила глаза на огонь и задумалась.

Мы переглянулись, словно хотели сообщить друг другу: «Вот сейчас, сейчас начнет!..»

Вдруг няня встала и пошла к дверям на лестницу.

– Няня! Наста! – кричали мы все в недоумении и горе. – Куда ты? Что же это такое!?.

Няня не отвечала, а только успокоительно кивнула головой и вышла.

Леля тихонько вскочила и на цыпочках побежала за ней.

– Ты куда?! – прикрикнула на нее няня из нижнего коридора. – Пошла на свое место!

Сестра, смеясь, вприпрыжку вернулась к нам и сказала:

– Я знаю, зачем она пошла: наверное принесет какого-нибудь лакомства.

Я запрыгала от радости, потому что была ужасная лакомка; но старшие прикрикнули, чтоб я сидела смирно. Няня скоро вернулась, и мы сразу увидели, что она несет что-то в своем черном коленкором переднике.

– Что у тебя там, няня? – спросила я, вскочив и заглядывая.

– Подожди, сударыня! Все будешь знать – скоро состареешься. А вы все встаньте-ко да отодвиньтесь, на часок, от печки.

Мы живо отодвинулись и ждали: что будет?

Няня нагребла на самый край печи мелких, горячих углей и посыпала на них чего-то из передника...

«Тр-тр-тр! Пуф-ф!» – защелкало и зашипело что-то в печке, и вдруг из нее к нашим ногам поскакали какие-то желто-белые, подрумяненные, пухлые зерна... Я бросилась было их собирать, но няня закричала: «Не тронь! Обожжешься!», и я опять села удивленная.

– Это кукуруза, – шепнула за спиной моей Даша.

– Кукуруза?.. Это что такое?

– Сухие кукурузные зерна. Они на огне раздуваются и лопаются, оттого так трещат и сами из печки выскакивают, – объяснила она мне; а Дуняша прибавила шепотом:

– Они потом, когда остынут, чудо какие вкусные.

Обе они с восторгом следили за всей этой сценой, но говорили шепотом, потому что няня не любила, когда девочки много при ней болтали.

Зерна то и дело с треском вылетали из печки и падали то на пол, то к нам на колени, заставляя нас с криком и смехом прыгать в сторону.

– Точно из пушек стреляет! – не совладав с собою, восторженно вскричала Даша.

– Смотри, чтоб те язык-то не отстрелило! – тотчас же сурово остановила ее няня.

– Ну, детки, вот и мое угощение готово: собирайте-ка да грызите, пока я стану рассказывать. Все же веселей, чем так-то сидеть и слушать, ничего не делая.

Мы живо выбрали каленую кукурузу, которая нам показалась очень вкусной; расселись снова полукругом и, с большим удовольствием грызя ее, приготовились слушать.

Няня посидела немного молча, потом выпрямилась и сказала:

– Расскажу я вам нынче сказку про попа и ужа.

Мне очень хотелось спросить: «Что такое уж?», но я не посмела прервать няни и после узнала, что это такая змея.

Няня начала мерным, певучим голосом, раскачиваясь на стуле и глядя не на нас, а куда-то вдаль, поверх наших голов, с совсем особенной расстановкой, будто бы стихи говорила:

– Называется сказка моя «Иван-Богатырь и поповская дочь».

«В некотором царстве, в некотором государстве жил да был удалой молодец, князь Иван-Богатырь. У того ль удалыца-молодца была сила крепкая, сила страшная! Все боялись его: на сто верст кругом все разбойники разбежались...

Раз пришел к нему деревенский поп; просит-молит его – дочку выручить! А ту дочку его лиходей увез: старый вор Черномор, что волшебствовал, околдовывал и разбойничал много лет в их местах.

Не задумался добрый молодец.

– Уж как я же его угощу ладком! – он возговорил. – Позабудет вор красных девок красть!

Оседлал Иван коня быстро; в руки взял кистенек весом в десять пуд и поехал себе по дороге в лес.

А за лесом тем, в страшном притоне, жил колдун Черномор. Подъезжая к его терему, увидел Иван частокол кругом. Частокол тот был весь унизан вплоть черепами-костями лошадиными да бычачьими.

Подъезжал Иван к тесовым воротам, колотил и кричал во всю моченьку... Показалась за стеной голова. Не людская то голова была: лошадиная, – побелевшая от ветров, от дождей; только череп один мертвой лошади...

– Что понадобилось добру-молодцу?.. Или смерти своей ты пришел искать? – она молвила громким голосом, громким голосом человеческим.

И захлопала белой челюстью, словно съесть его собираючись.

– Нет, не смерти своей я пришел искать, башка мертвая лошадиная! Отпирай замок да впускай меня... Красну девицу, дочь поповскую я пришел сыскать, у вора отнять, – проучить его не разбойничать!

– Ох! Какой богатырь! – засмеялась башка мертвая. – Видно, ты еще не отведал черноморского хлеба с солью?.. Убирайся-ка пока цел от нас! А не то сейчас Черномор тебя на куски разнесет: тело псам отдаст на съедение, а головушку неразумную высоко на кол вздернет он на забор... Оглянись ты кругом, – посмотри: частокол из чего у нас? Мыслишь то черепа лошадиные?.. Нет, соколик: они человечьи... То головки все молодецкие. Околдованы Черномором злым им убитые добры молодцы; его вороги, как и ты теперь вызывавшие его в бой честной... Уходи ж ты скорей, пока спит злодей; как проснется он, не уйдешь тогда!..

Рассердился князь и мечом потряс.

– Замолчишь ли ты, башка глупая?.. Жаль убить нельзя пустой череп твой... Ну, скорей отворяй! А не то как раз расшибу ворота и тебя заодно!

Отвечала ему башка бедная, тяжело вздохнув:

– Быть по твоему, богатырь удалой! Отопру тебе, только слушай меня: я не мертвый конь, – человек я живой!.. Зачарован я колдуном лихим, чтоб казаться таким всем людям честным... Отопру тебе я лишь с условием: если ты победишь врага лютого, – не забудь и меня, под подушкой его лежат ключики, – каждый весом в пуд: не забудь ты их, заведи с собой! Как одним ты ключом отопрешь подвал; а в подвале том моя душенька, человечая. Она вылетит, возвратится ко мне, стану я опять добрым молодцем!.. Как второй-то ключ самого тебя из беды спасет: за ним заперта жизнь злодейская, – запасная жизнь чародейская... Если ты его, князь, и убьешь теперь да волшебный ключ позабудешь взять, жаба, мать его, из земли сырой тотчас выползет; ключ возьмет, – отопрет во норе своей ларчик спрятанный, где хранится у нее пузырек с водой, с не простой водой, – а с водой живой! Той водой она как дотронется до убитого, встрепенется он, и душа его возвратится... Оживет тогда злой колдун Черномор и погонится за тобою вслед. Жди тогда беды, горя лютого!

– Ну, болтай себе! – отвечал Иван. – Разболтался как пустой череп твой!.. Отпирай скорей, не замай меня!.. Расходилась, раззудилась рука крепкая молодецкая. Поиграть мечом захотелось мне!.. Уж как съезжу его вдоль по черепу, не поможет ему жабы знахарство: не восстанет он, не отдышится!

Отперлись ворота, в них проехал князь...

Он ударился прямо к терему, вызывал колдуна громким голосом:

– Эй, колдун, выходи! Дай померимся с тобой силою. Богу я помолюсь, а ты в помощь зови силу черную, чародейскую.

Услыхал Черномор, вскипел злобою! Он затрясся весь и дубину взял.

– Хорошо, молодец; мы померимся, – распотешимся! – он Ивану сказал, грянув встречу ему.

Тут Иван принимал грудью врага; он кистень свой поднял, замахнулся им; в душе крест сотворил – и отвел от себя ту дубину врага!.. Налетал на него много раз Черномор; но Иван, все крестясь, с Божьей помощью поборол наконец злого недруга. Повалил он его и ногой ему наступил на грудь... Тогда вынул меч свой и им голову пополам раскроил колдуну!..»

Няня вдруг замолчала. Мы сидели, вытянув шеи, и не сводили с нее широко открытых глаз. Я помню, что я даже рот открыла от ожидания и страха за участь бедного Ивана-Богатыря. Всю сказку она говорила мерно, однообразным голосом и только последние слова проговорила сильнее, так что, когда она замолчала, у меня дух захватило в горле...

– Няня! Что же ты? – тоскливо проговорила я.

Няня не шевельнулась. Она пристально смотрела на огонь и, казалось, о нас забыла. Пламя теперь уже не вспыхивало так ярко и светло как в начале ее рассказа, а обливало всех

нас, в особенности морщинистое лицо няни красноватыми, неровными отблесками, которые таинственно перебежали по темной комнате; то вспыхивая, то потухая в самых отдаленных углах. Я припала к няне и опять спросила:

– Ну, что же дальше, няня? Говори же!

– Няня! Насточка! – пристала и Леля с Надей. – Что же ты остановилась?..

– А то, что довольно на сегодня, вот что! Будет с вас! – решительно сказала няня.

– Да как же довольно? Где же поп? Где же уж?.. Как же можно сказки не кончить?

– А так и не кончу. Нехорошо детям сказок под ночь долго заслушиваться. Ишь, вон Верочка-то и глазенки на меня как выпучила, словно испугалась. Полно, родная моя! Ведь это сказка! Пустяк!..

– Ну, пустяк, так и доскажи до конца! – просила ее Леля.

– Сказано не доскажу – и будет с тебя, вертунья! – рассердилась няня. – В другой раз окончу. Оправьтесь-ка да ступайте вниз: никак барин уж пришел в зал.

## Конец няниной сказки

Только на следующий вечер узнали мы, что произошло впоследствии с Иваном и поповской дочкою.

«Захрапел Черномор, на Ивана взглянул – и издох! – так ровно через сутки продолжала упрямая наша старушка свой рассказ. – Тогда князь Иван-Богатырь отправился искать по терему красную девицу, совершенно забыв о наказе лошадиной головы, и насилу ее разыскал в высокой светелке: она спряталась там, ожидая, что придет злой колдун, и совершенно теряется при виде нежданного красавца. Он же, вообразив, что она от него «схоронилась», гневается, что девица так отвечает в благодарность за его подвиг и услугу и, рассердившись, даже не глядит на нее; а она не осмеливается, видя гнев его, объяснить ему, в чем было дело, и молча, послушно садится с ним на коня его. Так они доезжают до погоста, где Иван сдает поповну отцу ее и матери и, не слушая их благодарностей, возвращается «шагом тихим в свою отчину»... Между тем бедный молодец, «обороченный приворотом злым в коня мертвого», – т. е. та голова лошадиная, что предупреждала богатыря о ключах, – оказывается правой: едва выехал он, с Аннушкой за седлом, из ворот Черномора, как «жаба, мать его, из норы выползала своей, брала ключики те волшебные» и спешила скорей за водой живой. Вода эта мигом затянула раны и возвратила сына ее, чародея, к жизни, и он, недолго думая, погнался за Иваном, настиг его на мосту, у леска, возле его усадьбы, и, обратившись «в силу черную, силу страшную, заградил ему путь» и...

Тут-то и произошло самое интересное событие во всей няниной сказке:

«Что-то жуткое с князем случилось! Голова его закружилась, потемнело в глазах... Богатырский меч из руки упал; ничего не видал, ничего не слышал бедный витязь и вдруг как-то смалился и... с коня соскользнул, прямо в рытвину... Бедный молодец, князь Иван-Богатырь, впал в беспамятство. Он и сам не знал, сколько тут пролежал, но опомнившись, захотел своей душой, хоть в могиле сырой, свое горе сокрыть: он заснул молодцом, а проснулся – ужом!.. Завернув длинный хвост, уж забился под мост и задумался...»

И было чего думать! Злой колдун вообразил, что он Аннушку увез, потому что сам ее любит, и, чтобы навеки разрушить его счастье, объявил, что он навсегда останется змеей; что до той поры не бывать ему человеком опять, пока его, «гада скверного, змея лютого», не полюбит красна девица. Несколько часов бедный околдованный богатырь продумал о своем несчастий и о том, что не бывать бы этой беде, если б он был не так самонадеян и забывчив, послушался бы лошадиного черепа и захватил с собою золотые ключи. Вдруг он слышит, что на мост над ним кто-то выехал: это был поп, отец Аннушки, со своей женой...

«Тут наш уж вылезал, попу путь заградил, и хвостом он махал и сердито кричал:

– Поп, постой-погоди! Ты с тележки сходи, чтобы съест мне тебя вольной-волею! А не слезешь, – и съем не тебя одного, а с тобою и мать-попадью!»

Поп начинает упрашивать его не есть их, предлагая дать за себя какой угодно выкуп. Уж требует одну из дочерей попа в жены себе, и, возвратясь домой, поп начинает убеждать старших своих дочерей обвенчаться со змеей, жалея меньшую, Аннушку, вырученную недавно из плена колдуна. Но старшие только смеются и грубят родителям, говоря, что беда невелика, если уж их проглотит, потому что им и так уже «помирать пора»... Меньшая пристыжает их

и объявляет, что готова идти хоть на смерть за отца с матерью. Попадья и слышать об этом не хочет, но отец, поразмыслив, говорит так:

«Делать нечего! Видно, ей судьба горемычная. А ведь, может, уж будет добрый муж! Божья воля на все!.. Может сам Господь наградит ее за родителей!..»

На другой день Аннушка села в тележку с отцом и матерью и при громких насмешках злых сестер отправилась в лес выкупом за отца и мать. Она ожидала лютой смерти, но ошиблась: уж оказался предобрый и прекрасным мужем. Он выстроил ей домик в лесу; рано вставал, чтобы всю работу успеть окончить, рубил дрова, воду таскал, набирал для жены ягод, стряпал ей кушанье. Аннушка надивиться не могла, «что за уж такой ее муж родной? Говорит и поет словно бы человек, и так светятся у него глаза то печалию, а то ласкою, что нельзя не любить его бедного!.. Хоть он телом и гад, но душою своей добрей многих людей!» Раз она начала его расспрашивать, и уж признался ей, что он не змея, а околдованный Черномором богатырь. Аннушка изумилась и спросила: не за то ли он потерпел, что спас какую-нибудь девицу, точно так, как ее самое спас Иван-Богатырь? Говоря это, она зарумянилась, а муж ее, змея, притворился, что ревнует ее к князю, спасшему ее от колдуна; что уж верно «богатырь ей мил, – муж-змея постыл?», и объявил, что, желая ей счастья, пойдет сейчас к реке и утопится, для того чтоб она могла обвенчаться с Иваном-Богатырем. Говоря это, он пополз к двери избушки...

«За ним Аннушка поднималась и слезами вся обливалась. «Ты куда же, мой уж? Разве ты мне не муж?.. Нужды нет, что змея, а люблю я тебя: добр ты был до меня, – не пушу я тебя на смерть лютую! И зачем ты меня оставляешь!?. На кого ж ты меня покидаешь?..» Говоря так, она со земли подняла ужа бедного; и лаская его, обнимаючи, ко груди ко своей прижимаючи, вдруг горящей слезой прямо на сердце ему капнула... Диво дивное тут содеялось! – Жаром вспыхнула кровь горячая, молодецкая! Обновился князь, с глаз туман пропал, золота чешуя в парчовой кафтан обратилась, и на месте змеи – гада лютого, очутился вдруг удалец, князь Иван-Богатырь!.. Так и ахнула молодая жена, увидав, кого обнимала она. Тут за руку брал ее князь наш удал, и к родителям приводил и просил ласки-милости попа-батюшки, тещи-матушки, молодых сестриц... Но сестрицы тут рассердились: «Так-то ты нас надула, сестра? Всех моложе ты нас, так не стать бы меньшей под венец идти первой-напервой!.. Ишь, какого ужа подцепила в мужья! – За такого б и мы не прочь выйти!» Тут вмешалась мать-попадья: «Кто ни мать, ни отца не жалеет, тому счастья не будет от Бога!» Так сказала она, и надувшись ушли прочь сестрицы в светлицы свои. А наш князь молодой со княгинюшкой стали жить-поживать да добра наживать. Я сама там была и мед с пивом пила, только в рот то мне мало попало!..»

Этой присказкой няня обыкновенно кончала свои сказки.

## Исповедь

Зима прошла так скоро, что мы ее и не видали. Наступил Великий пост. Я заметила его только потому, что нам, детям, с папой большим подавали обыкновенный обед, а всем остальным постные кушанья. Когда я узнала, что бабушка и тети едят постное и часто ездят в церковь потому, что Великий пост – именно то время, в которое злые люди, не поверив, что Иисус Христос – наш Бог, взяли Его, мучили и убили, я тоже непременно захотела поститься. Но мне не позволили. Пришел наш доктор, длинный-длинный, не то немец, не то француз, такой противный, с утиным носом и длинными баками (няня Наста его терпеть не могла и говорила, что у него «баки как у собаки», – с чем мы были все согласны!) и запретил давать мне постные кушанья. Я помню, что меня очень занимала перемена погоды. Я сидела на окне и смотрела, как твердый белый снег превращался в какой-то жидкий кофейный кисель и бесшумно проваливался под полозьями и колесами. Морозного скрипа и визга, ледяных прозрачных как стеклянные палки сосулек уже не было и в помине! Все разрыхлело, таяло, и вода текла по улицам; а Волга смотрела черной, исполосованной и взбудораженной, будто бы кто-нибудь ее нарочно всю перекопал и запачкал. Мама и бабочка жаловались, что езды совсем нет; на полозьях ездить – лошадям тяжело, а в колесных экипажах еще страшно. Во всем доме была суэта: все мыли, чистили, прибирали.

Бабушка чаще обыкновенного советовалась с маленькой, круглой как шарик ключницей Варварой и дольше вечером держала старшего повара Максима, когда он приходил к приказу.

По мере того, как толстая Варвара или баба Капка, как ее все в доме называли, озабоченнее погромыхивала связками ключей и чаще и громче ворчала, ссорясь то с дворецким, то с горничными, наша няня Наста становилась все тише и все менее принимала участия в домашних хлопотах. Вообще она за весь пост только и делала, что чистила ризы на образах, перетирала киоты и зажигала в них свечи и лампы. Она говела на первой неделе и второй раз на страстной. По вечерам мы знали, когда няня в церкви; по утрам же никто не мог замечать ее отсутствия, потому что она ходила к заутрени и к ранней обедне. Я рассказываю о ней потому, что она производила сильное впечатление на меня в то время, и я с величайшим интересом наблюдала за ней. Я не давала бабочке покоя расспросами о том, как может няня постоянно молчать и так часто молиться у всех икон? И как это она может ничего не есть? И отчего это она не только сказок больше говорить не хочет, но постоянно уходит от нас, чтоб и не смотреть на наши игры и не слышать песен наших и смеха?.. В самом деле, няня притихла к концу поста до такой степени, что голоса ее не было никогда слышно. Во всю страстную неделю она съедала только по одной просвире в день; а в пятницу и субботу совсем ничего в рот не брала. Я помню, что смотрела на нее в это время не только с уважением, но с чувством недоумения, весьма похожим на страх.

В среду вечером пришел священник с дьячком и отслужил в нашем зале всенощную. Весь дом, все люди, даже повара и кучера сошлись в зал или к отворенным в переднюю и коридор дверям. Я очень усердно крестилась и становилась на колени, стараясь во всем подражать большим, но должна признаться, что не могла молиться: мысли самые разнообразные занимали меня. Я осматривалась с удивлением и по обыкновению заготовляла сотни вопросов, с которыми на другой день должна была обратиться к бабушке или Антонии.

После всенощной все тихо разошлись, в зале потушили почти все свечи, но священник остался у аналоя в углу, под ярко освященным образом Спасителя.

– Что это будет? – шепотом спрашивала я, крепко стискивая руку мамы, когда она уводила меня в соседнюю гостиную.

– Мы будем исповедоваться, – говорить наши грехи священнику, – объяснила она.

Я хотела допросить ее яснее, очень мало поняв из ее ответа; но что-то в лице мамы заставило меня замолчать и только смотреть на все еще внимательнее, отложив вопросы до другого времени.

Все мы вышли в гостиную и плотно заперли в нее двери; в зале остался один дедушка.

Я смотрела на дверь и, сама не зная, чего боюсь, со страхом ожидала, что будет?..

Дверь скоро приотворилась, и папа большой сказал, не сходя с порога, бабочке:

– Иди, *chère amie* [милый друг – фр.], я пойду теперь к себе вниз.

И дедушка пошел к коридору, а я так и впилась в отворенную дверь зала. Темная фигура священника мелькнула предо мною, на светлом фоне освещенного угла пред аналоем, спиною к нам, и двери снова затворились: бабушка, крестясь, вошла в зал... Я вздрогнула, когда Леля вдруг шепнула над самым моим ухом:

– И я тоже буду исповедоваться. Я большая. А ты не будешь! – Ты еще глупая, маленькая!

– И тебе не страшно? – с ужасом спросила я.

– Страшно! Вот еще глупости! Чего тут бояться?..

– Как чего?.. Нет! Я бы боялась идти туда.

И я продолжала смотреть со страхом на эту тяжелую дверь, за которой происходило что-то неведомое мне, но очень важное и даже, как мне казалось, не совсем безопасное... Я радовалась, что мне не нужно идти туда. Я совершенно не понимала, что значит – исповедоваться, но боялась за каждого, шедшего в темный зал, и вздыхала свободно, когда все по очереди оттуда возвращались целы. Когда пришел черед Лели идти, я взглянула на нее и заметила, что, несмотря на ее хвастовство, она очень бледна... Мне сделалось так жаль ее и так за нее страшно, что я невольно припала к дверной щелке...



«Две Елены (Елена Ган и Елена Блаватская)». 1844–1845. По одной из версий, картина была написана Е. П. Блаватской.

– Верочка! Отойди. Как можно смотреть? – сказала мне тетя Катя.

Я отошла, но очень обрадовалась, когда сестра к нам возвратилась. Я смотрела на нее теперь с особенным уважением и каким-то ожиданием: словно предполагала, что она совершенно должна измениться. Я очень удивилась, убедившись, что Леля точно такая же, как и была. Нас усадили после исповеди чистить изюм и миндаль для бабок и мазурок, и сестра несколько раз принималась шалить и хохотать, – чем меня очень неприятно изумляла.

– Тише, дети, – останавливала нас мама, – разве можно так смеяться накануне причастия?.. А ты-то, Леля, большая девочка, только что от исповеди и громче всех хохочешь! Не стыдно ли?

Бабушка ничего не говорила, только ласково смотрела на нас, и, хотя губы ее не смеялись, зато добрые темные глаза ее и все ее милое, приветливое лицо улыбались нам против воли.

## **В монастыре**

На другой день нас рано утром повезли причащать в женский монастырь. Во все время обедни я рассматривала с большим любопытством монахинь и очень сожалела маленькую, худую женщину, игуменью монастыря, которой, по моему мнению, должно было быть ужасно жарко во всех этих длинных суконных мантиях, в клобуке и суконной шапочке, на лбу и вокруг щек опушенной мехом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.